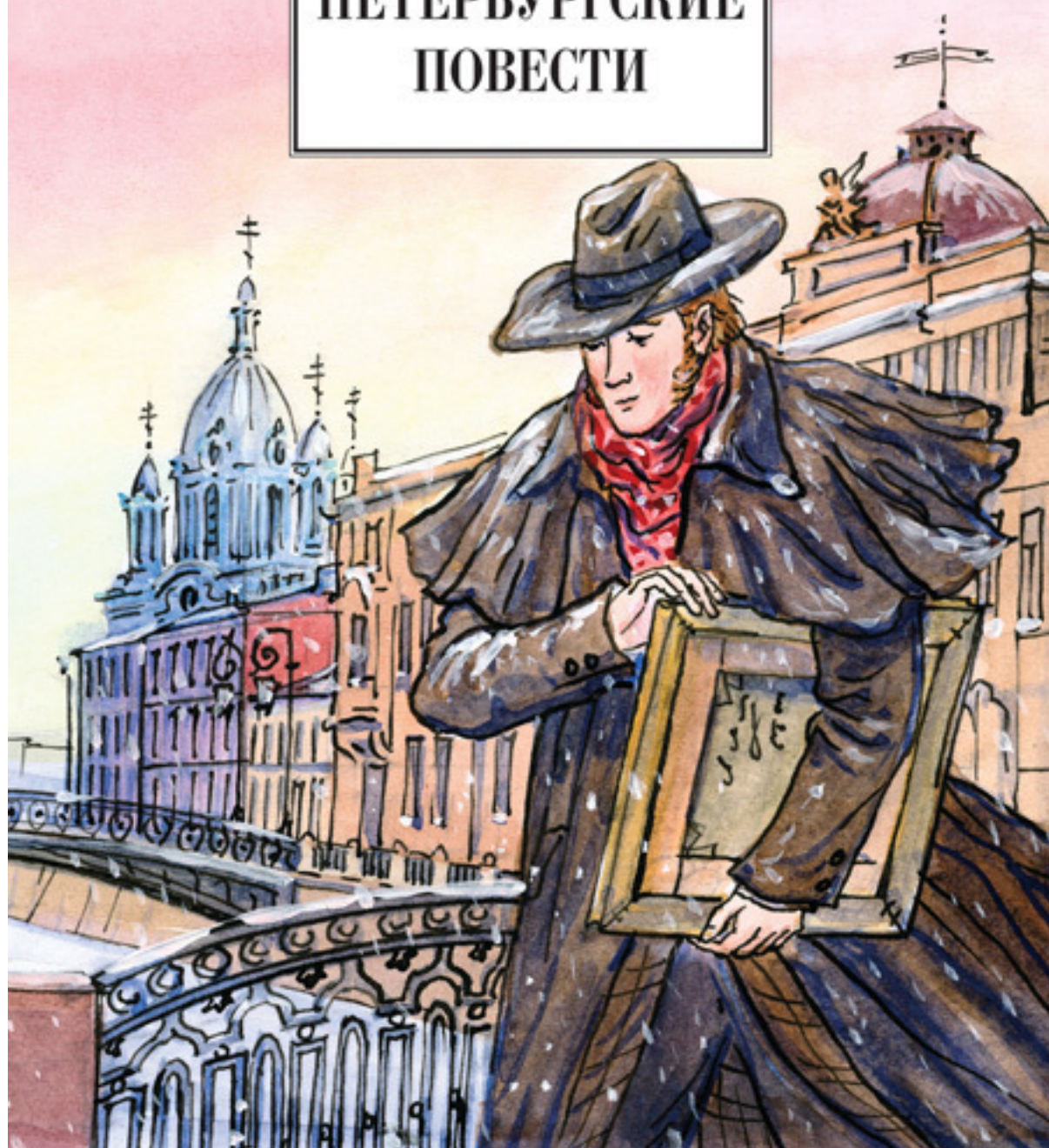


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Н. В. Гоголь

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ



Школьная библиотека (Детская литература)

Николай Гоголь
Петербургские повести

Издательство «Детская литература»

1835–1842

УДК 882-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

Гоголь Н. В.

Петербургские повести / Н. В. Гоголь — Издательство «Детская литература», 1835–1842 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 5-08-004025-4

В книгу вошли произведения одного из трех гоголевских циклов – петербургские повести (1835–1842). В них ярко проявился глубокий критический гений «великого мастера» (Белинский).

УДК 882-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

ISBN 5-08-004025-4

© Гоголь Н. В., 1835–1842
© Издательство «Детская литература», 1835–1842

Содержание

Гоголевский Петербург	6
Невский проспект[4]	11
Нос[49]	34
I	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37



1809—1852

Николай Васильевич Гоголь

Петербургские повести

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2002

© В. А. Воропаев. Вступительная статья, комментарии, 2002

© Ф. А. Москвитин. Рисунки, 2002

* * *

Гоголевский Петербург

В декабре 1828 года Гоголь вместе со своим школьным товарищем Александром Данилевским впервые отправился в Петербург. По мере приближения к столице нетерпение и любопытство путников возрастало. Наконец издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении к большому городу. Молодыми людьми овладел восторг: они, позабыв о морозе, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы получше рассмотреть строения. Гоголь страшно волновался и за свое пылкое увлечение поплатился тем, что схватил насморк и легкую простуду. Он даже немного обморозил себе нос и вынужден был несколько дней просидеть дома. От всего этого восторг сменился противоположным настроением, особенно когда их начали беспокоить петербургские цены и разные мелкие неудобства, связанные с проживанием в столице.

Вскоре по прибытии Гоголь писал матери: «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы. Жить здесь не совсем по-свински, то есть иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали. За квартиру мы (с Данилевским. – В. В.) платим восемьдесят рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду... Съестные припасы также недешевы... В одной дороге издержано мною триста с лишком, да здесь покупка фрака и панталон стоила мне двухсот, да сотня уехала на шляпу, на сапоги, перчатки, извозчиков и на прочие дрянные, но необходимые мелочи, да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до восьмидесяти рублей».

С первыми впечатлениями Гоголя от пребывания в Петербурге связаны и так называемые «петербургские повести»: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего», опубликованные в разное время. Писатель никогда не объединял их в цикл наподобие «Вечеров на хуторе близ Диканьки» или «Миргорода». Например, в третьем томе собрания сочинений 1842 года они соседствуют с повестями «Коляска» и «Рим». Тем не менее пять названных выше повестей Гоголя вошли в русскую литературу как «петербургские».

Образ Петербурга возник у Гоголя в 1831 году в «Пропавшей грамоте» и «Ночи перед Рождеством». Хотя тут уже намечены некоторые черты, которые были впоследствии развернуты в петербургских повестях, образ северной столицы здесь несколько условен, как бы декоративен. Гоголю понадобилось еще два года прожить в Петербурге, чтобы глубже проникнуть в сложную жизнь города. Тогда и начали воплощаться замыслы новых повестей.

Вот «Невский проспект» – в нем изображен Петербург дневной и ночной. Днем это «главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару хороших глазок и удивительную шляпку...». При вечернем освещении Невский проспект выглядит иначе. «Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет». От уличного фонаря уходят, каждый в свою сторону, художник Пискарев и поручик Пирогов, оба мелкие неудачники. Один расстается с жизнью, другой легко забывает стыд и позор за пирожками в кондитерской и вечерней мазуркой. Выдающиеся критики и писатели того времени, например, Белинский, Аполлон Григорьев и Достоевский, – люди несходных убеждений, – одинаково восторгались гоголевским Пироговым как бессмертным образом пошлости (*пошлости* в смысле бездуховности).

Художник Пискарев мечтает о возвышенной красоте, а сталкивается с той же пошлостью, но в другом роде – с уличной женщиной. Гоголь изображает картину ночного города, как он чудится устремившемуся за своей мечтой художнику: «Тротуар несея под ним, кареты с скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял

крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз».

Ночному Петербургу принадлежит и мечта Пискарева – его *прекрасная дама*, так жестоко обманувшая его эстетические иллюзии. «О, не верьте этому Невскому проспекту! – восклицает автор в конце повести. – Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете».

Лирические или авторские отступления не особенность одних «Мертвых душ», но особенность всей прозы Гоголя. В каждой повести можно найти подобные отступления.

«Необыкновенно-странное происшествие», случившееся в повести «Нос», кажется «чепухой совершенной». Рассказчик как бы удивлен происходящим; он не берется объяснять того, что нос майора Ковалева оказался запечен в тесте, был брошен в Неву, но, несмотря на это, разъезжал по Петербургу, имея чин статского советника, а потом оказался на своем законном месте – «между двух щек майора Ковалева». Там, где линии сюжета могли бы все-таки как-то связаться, но не сошлись, автор объявляет: «Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно».

Гоголь не обещает нам правдоподобия, ибо дело не в нем, – в рамках логики и правдоподобия сюжет мог бы развалиться. В повести события происходят «как во сне»: по ходу действия герою приходится несколько раз ущипнуть себя и убедиться, что он не спит. «А все, однако же, как поразмыслишь, – замечает автор, – во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают».

В повести упоминается история о «танцующих стульях» в Конюшенной улице. Князь Петр Андреевич Вяземский писал по этому поводу своему другу Александру Тургеневу в январе 1834 года из Петербурга: «Здесь долго говорили о странном явлении в доме конюшни придворной: в комнатах одного из чиновников стулья, столы плясали, кувыркались, рюмки, налитые вином, кидались в потолок; призвали свидетелей, священника со святою водою, но бал не унимался». Подобные явления в нашу эпоху получили наименование *полтергейст*¹. В реальности подобных «невероятных» происшествий сомневаться не приходится.

У гоголевского майора Ковалева исчез с лица нос. Это стало для него равносильно утрате личности. Пропало то, без чего нельзя ни жениться, ни получить места, а на людях приходится закрываться платком. Ковалев так и объясняет в газетной экспедиции, что ему никак нельзя без такой заметной части тела и что это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую можно спрятать в сапог, – и никто не увидит, если его нет. Словом, нос – важнейшая часть, средоточие существования майора. Нос становится сам лицом – в том значении, в каком, например, начальник в «Шинели», распекший Акакия Акакиевича, именуется не как-нибудь, а *значительным лицом*. Вот уже нос и лицо поменялись местами: «Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился». Нос майора Ковалева оказался чином выше его.

Повесть «Портрет» рассказывает о художнике, продавшем свой дар за деньги, – он продал дьяволу душу.

Здесь, если иметь в виду художественные произведения, Гоголь наиболее полно высказал свои взгляды на искусство. Проникновение злых сил в душу художника искажает и его

¹ Полтергейст (от нем. Poltergeist – домовой) – явления перемещения, падения, исчезновения предметов, происходящие в доме и объясняемые проделками нечистой силы.

искусство, – ведь оно должно быть не просто способностью создавать прекрасное, но подвигом трудного постижения духовной глубины жизни. Важно, что соблазнил Чарткова предмет искусства – необычный портрет с *живыми* глазами. «Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета». Тайна портрета тревожит автора и побуждает к размышлению о природе искусства, о различии в нем *создания* и *копии*. «Живость» изображения у художника-копииста, написавшего портрет ростовщика, для Гоголя – не просто поверхностное искусство, а демонический отблеск мирового зла. Такое искусство часто обольщает душу зрителя, заражает греховными чувствами. Недаром с портрета глядят живые недобрые глаза старика.

Автор рассказывает, что у благочестивого живописца, написавшего странный портрет с живыми глазами вдруг *без всякой причины* переменялся характер: он стал тщеславен и завистлив. Но такие же необъяснимые на первый взгляд факты случаются в жизни повседневно. «Там честный, трезвый человек делался пьяницей, там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока». Вскоре после Гоголя и Достоевский будет изображать подобные будничные, распространенные факты как чрезвычайные, необыкновенные. Там, где нет видимых причин для происходящих на глазах превращений, – там бессильно простое наблюдение и описание.

Гоголя как писателя отличает особая ответственность перед читателем. Он считал, что «обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю... когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желаньем добра можно произвести зло». Осознание ответственности художника за слово и за все им написанное пришло к Гоголю очень рано. В повести «Портрет» (в редакции 1835 года) старый монах делится с сыном своим религиозным опытом: «Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника». В книге «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь сказал, чем должно быть, по его мнению, искусство. Назначение его – служить «незримой ступенью к христианству». По Гоголю, литература должна выполнять ту же задачу, что и сочинения духовных писателей, – просвещать душу, вести ее к совершенству. В этом для него – единственное оправдание искусства. И чем выше становился его взгляд на искусство, тем требовательнее он относился к себе как к писателю.

В «Портрете» можно найти отражение духовной жизни Гоголя. Художник, создавший портрет ростовщика, решает уйти из мира и становится монахом. Приуготовив себя в монастыре подвижнической жизнью отшельника, он возвращается к творчеству и создает картину, которая поражала всех видевших ее как бы исходящей из нее высокой духовностью. В конце повести монах-художник наставляет сына: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится».

Здесь Гоголь как бы наметил программу своей жизни. В середине 1840-х годов у него появилось намерение оставить литературное поприще и уйти в монастырь. Но эти монашеские устремления (которые не были секретом для школьных друзей Гоголя), по всей видимости, не предполагали окончательного отказа от творчества, но как бы подразумевали возвращение к нему в новом качестве. Путь к большому искусству, полагал Гоголь, лежит через духовный подвиг художника. Нужно на время умереть для мира, чтобы пересоздаться внутренне, а затем вернуться в мир, то есть к творчеству.

«Шинель» – последняя из написанных Гоголем повестей – создавалась одновременно с первым томом «Мертвых душ». История Акакия Акакиевича Башмачкина, «вечного титулярного советника», – это история гибели *маленького человека*. В департаменте к нему относились без всякого уважения и даже на него не глядели, когда давали что-нибудь переписывать. Ревностное исполнение героем своих обязанностей – переписывание казенных бумаг – единствен-

ный интерес и смысл его жизни. Убожество и робость бедного чиновника выражаются в его косноязычной речи. В разговоре он, начавши, не оканчивал фразы: «Это, право, совершенно того...» – а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил». Несмотря на свое униженное положение, Акакий Акакиевич вполне доволен своим жребием. В истории с шинелью он переживает своего рода озарение. Шинель сделалась его «идеальной целью», согрела, наполнила его существование. Голодая, чтобы скопить деньги на ее шитье, он «питался духовно, неся в мыслях своих идею будущей шинели». Герой даже сделался тверже характером, в голове его мелькали дерзкие, отважные мысли – «не положить ли, точно, куницу на воротник?».

Столкнувшись с вопиющим равнодушием жизни в виде «значительного лица», испытав душевное потрясение, Башмачкин заболевает и умирает. В предсмертном бреду он произносит никогда не слыханные от него страшные богохульные речи. И здесь мысли его вертелись вокруг той же шинели. Когда же он умер, то «Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное...». Только через несколько дней в департаменте узнали, что Башмачкин умер, да и то только потому, что пустовало его место.

Но на этом история о бедном чиновнике не оканчивается. Умерший Башмачкин превращается в призрака-мстителя и срывает шинель с самого «значительного лица». После встречи с мертвецом тот, почувствовав укоры совести, нравственно исправляется. Иногда думают, что погибший Акакий Акакиевич тревожит *совесть* «значительного лица» и только в его воображении является призраком. Однако такое правдоподобное объяснение нарушает логику гоголевского мира – так же, как она была бы нарушена, если бы действие «Носа» объяснялось как сон майора Ковалева.

Впрочем, автор и тут не дает окончательного ответа на все вопросы. «Один коломенский будочник, – пишет он, – видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но будучи по природе своей несколько бессилен... он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» – и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», – да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте». Так кончается повесть. Гоголь оставляет за читателем решать, имело ли привидение отношение к Акакию Акакиевичу или все это плод досужих выдумок и городских толков.

В «Шинели» Гоголь показывает, как человек вкладывает всю свою душу без остатка в вещь – шинель. Эта сторона героя повести, заслуживающая не только сострадания, но и порицания, была отмечена Аполлоном Григорьевым, который писал, что в образе Башмачкина «поэт начертал последнюю грань обмеления Божьего создания до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим *fatum*² в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного...».

Гоголевский Акакий Акакиевич не сводится как герой лишь к петербургскому типу чиновника, – это образ общечеловеческий, относящийся ко всем подобным ему, где бы и когда бы они ни жили, в каких бы условиях ни погибали, ни исчезали из жизни так же незаметно для окружающих, как и Акакий Акакиевич. На него обрушилось несчастье такое же, «как обрушивалось на царей и повелителей мира...».

² Фатум (*лат. fatum*) – судьба, рок, неизбежность.

«Записки сумасшедшего» – единственное произведение Гоголя, написанное от лица героя, как его рассказ о самом себе. Поприщин (фамилия героя происходит от слова *поприще*³) ведет свой внутренний монолог, во внешней же жизни, перед генералом и его дочкой, он и хотел бы много сказать и спросить, но у него язык не поворачивается. Это противоречие внешнего положения и внутреннего самосознания отражается в его записках, оно-то и сводит его с ума. Поприщина мучит вопрос о собственной человеческой ценности. Так как никто за ним такой не признает, он пытается это сам решить для себя. Герой разговаривает в записках с самим собой. Вот, например, его игривое замечание: «Что это за бестия наш брат чиновник! Ей-богу, не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит». Этот тон легкой пошлости показывает, что герой таков же, как и многие, что он любит пошутить. Однако Поприщин не поручик Пирогов или майор Ковалев, у которых в голове все в порядке, и это действительно их тон. А Поприщин только хотел бы быть таким, как они. Если в других петербургских повестях пошлость и трагизм – две краски петербургского мира – выступают раздельно и сложно сочетаются в повествовательной речи автора, то в «Записках сумасшедшего» в каждом пошлом слове героя слышен трагизм его попыток осознать себя *нормальным* человеком. «Вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью», – писал Белинский.

В этих попытках Поприщину не на что опереться, кроме известных ему понятий о человеческой ценности в виде чинов и званий. Поэтому ему хочется «рассмотреть поближе жизнь этих господ». Он фантазирует, что «станем и мы полковником и заведем себе репутацию». Ему приходят на ум вопросы: «Отчего происходят все эти разности? Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?» или «Может быть, я сам не знаю, кто я таков». Горделивое чувство искаженного сознания возносит его аж в испанские короли.

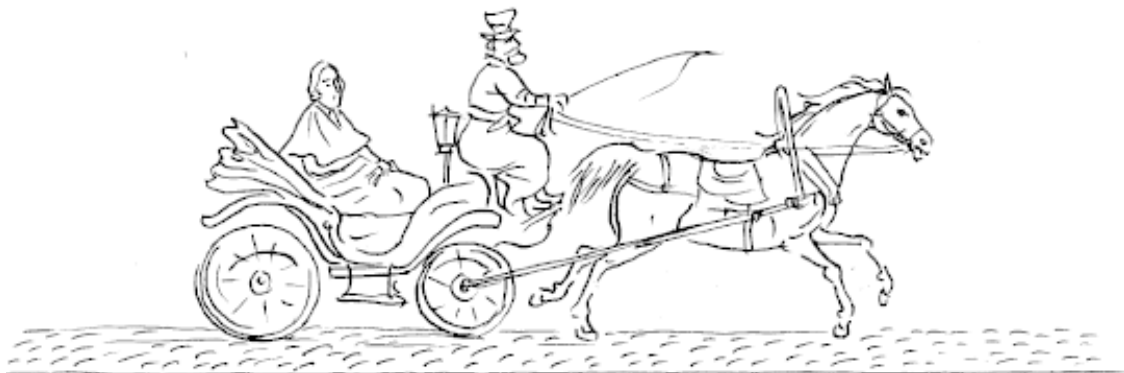
Заключительный монолог героя – уже не речь прежнего Поприщина, но голос самого Гоголя. Сознание человеком своего несчастья рождает любимый у Гоголя образ дороги, тройки и колокольчика. Дорога мчится через весь свет в небесные дали – куда несет она героя? «... Взвейтесь, кони, и несите меня с этого света!» Так разрешаются поиски ущербным человеком своего места в мире: не титулярный советник, и не полковник, и не испанский король, а – «ему нет места на свете!».

Достоевскому приписывают фразу: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Говорили ли он действительно эти слова, мы достоверно не знаем. Но кто бы их ни сказал, не случайно они стали крылатыми. Очень многое и важное вышло из гоголевской «Шинели», из петербургских повестей Гоголя. Эти повести не только о Петербурге и петербургских жителях, они дают символические образы мирового масштаба и поэтому входят в сокровищницу мировой литературы.

Владимир Воропаев

³ Поприще – область деятельности; старинная мера длины, около версты; суточный переход. Ср. в Евангелии: *И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два* (Мф. 5, 41).

Невский проспект⁴



Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блещит эта улица – красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волосы и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно,

⁴ Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. Спб., 1835. Ч. 2. В конце октября или начале ноября 1834 г. перед представлением «Арабесок» в цензурный комитет (цензурное разрешение последовало 10 ноября 1834 г.) рукопись «Невского проспекта» просмотрел А. С. Пушкин, который писал автору, опасавшемуся цензурных строгостей: «Перечел с большим удовольствием; кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. Авось Бог вынесет. С Богом!» (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 10. С. 204). В сохранившейся черновой рукописи, относящейся к концу июля – сентябрю 1834 г., сцена «секуции» выглядела так: «Если бы Пирогов был в полной форме, то, вероятно, почтение к его чину и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно как частный приватный человек в сюртучке и без эполетов. Немцы с величайшим неистовством сорвали с него все платье. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен». В повести нашли отражение впечатления Гоголя от занятий в классах Академии художеств, которые он посещал в качестве вольноприходящего в течение трех лет (с 1830 по 1833 г.). О своих занятиях и знакомстве с художниками он сообщал в письме к матери от 3 июня 1830 г.: «...после обеда в 5 часов отправляюсь я в класс, в Академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить, – тем более что здесь есть все средства совершенствоваться в ней и все они, кроме труда и старания, ничего не требуют. По знакомству своему с художниками, и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди! Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки, какая скромность при величайшем таланте! Об чинах и в помине нет, хотя некоторые из них статские и даже действительные советники. В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа...» В Петербурге Гоголь общался с А. Г. Венециановым, А. Н. Мокрицким, К. П. Брюлловым, с вице-президентом Академии художеств графом Ф. П. Толстым, секретарем Общества поощрения художников В. И. Григоровичем, позднее близко сошелся с А. А. Ивановым, Ф. А. Моллером, Ф. И. Иорданом. Подробнее см.: Киселев А. Типы русских художников в произведениях Гоголя в связи с господствовавшими в его время воззрениями на задачи живописи // Артист. 1894. № 12; Машковцев Н. Г. Гоголь в кругу художников. М., 1955; Молева Н. Загадка «Невского проспекта» // Знание – сила. 1976. № 4. Пушкин, высоко оценивший «Невский проспект», назвал в отзыве на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» повесть Гоголя «самым полным из его произведений» (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. С. 97). Типичность Пирогова подчеркивал В. Г. Белинский: «...О единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! <...> Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек!» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 174). Верностью и типичностью гоголевского образа восторгался Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г.: «Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось так безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения, думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения, нет!» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 21. С. 124).

позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожжах. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремющая сабля исполненного надежд прапорщика⁵, проводящая по нем резкую царапину, – все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантазмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопках⁶, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми⁷ еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофий; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера, как муха, с шоколадом, вылезает, с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою⁸, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре⁹. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент¹⁰. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах¹¹ меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах¹², с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, – никто этого не заметит.

⁵ *Прапорщик* (от старослав. «прапор» – знамя) – младший офицерский чин в русской армии.

⁶ *Салоп* (фр. *salope*) – верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с прорезями для рук или небольшими рукавами, часто на подкладке, вате или меху.

⁷ *Комми* – приказчики (от фр. *commis*).

⁸ ...*Екатерининский канал, известный своею чистотою...* – В Екатерининский канал спускались сточные воды, о «чистоте» его Гоголь говорит иронически.

⁹ ...*резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре.* – Намек на изменение театрального репертуара 1830-х гг., появление на сцене бытового водевиля с героями – чиновниками, актерами, купцами.

¹⁰ *Департамент* – отдел министерства или другого высшего государственного учреждения.

¹¹ *Грош* – медная монета в две копейки.

¹² *Пестрядевые халаты* – из пестряди, грубой домашней ткани из разноцветных ниток.



Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте!

В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностью изыясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект –

педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих¹³, наконец выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек¹⁴. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах¹⁵ и шляпах. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболев или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, – предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою¹⁶, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров¹⁷ и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков – пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства.

¹³ ...статью в газетах о приезжающих и отъезжающих... – В газетах того времени был постоянный отдел, в котором печатались имена лиц, приехавших или выбывших из столицы (в список включались, как правило, лица значительные, чиновные).

¹⁴ ...служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. – В Коллегии иностранных дел, по традиции, служили большей частью представители избранных аристократических фамилий.

¹⁵ Редингот (фр. redingote) – мужское или дамское пальто широкого покроя.

¹⁶ Веленевая бумага – высокосортная плотная бумага.

¹⁷ Посессор – владелец, обладатель (от фр. possesseur).

Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, – словом, большею частию всё порядочные люди. В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущею столицей Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмой – галстук, возбуждающий удивление, осьмой – усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редет... В три часа – новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари¹⁸ спешат еще воспользоваться временем и пройтись по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого понытчика¹⁹, пущенная по миру во фризовой шинели²⁰, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке²¹ с талией на спине, с узенькою бороною, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару, иногда низкий ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на дома и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частию холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами

¹⁸ ...титулярные, надворные и прочие советники... коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари... – Согласно табели о рангах, введенной Петром I в 1722 г., чиновники гражданского ведомства делились на четырнадцать классов: 1-й (высший чин) – канцлер, 2-й – действительный тайный советник, 3-й – тайный советник, 4-й – действительный статский советник, 5-й – статский советник, 6-й – коллежский советник, 7-й – надворный советник, 8-й – коллежский асессор, 9-й – титулярный советник, 10-й – коллежский секретарь, 11-й – корабельный секретарь, 12-й – губернский секретарь, 13-й – провинциальный секретарь, сенатский, синодальный регистратор, 14-й (самый младший чин) – коллежский регистратор.

¹⁹ Понытчик – судебный чиновник, следивший за порядком и хранением поступивших бумаг.

²⁰ Фризловая шинель – из фриза, грубой ворсистой ткани типа байки.

²¹ Демикотоновый сюртук – из демикотона, плотной хлопчатобумажной ткани.

Полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частию сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такою важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам²², артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.

– Стой! – закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. – Видел?

– Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка²³.

– Да ты о ком говоришь?

– Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! Боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица – чудеса!

– Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

– О, как можно! – воскликнул, покрасневшись, молодой человек во фраке. – Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, – продолжал он, вздохнувши, – один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

– Простак! – закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. – Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись.

«Знаем мы вас всех», – думал про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться.

²² *Сиделец* – лавочник, продавец, находящийся на жалованье у купца.

²³ *Перуджинова Бианка*. – Речь идет об известной фреске итальянского художника Перуджино (наст. фамилия Ваннуччи) Пьетро (между 1445 и 1452–1523) «Поклонение волхвов» с образом Мадонны в центре, находящейся в часовне Санта-Мария деи Бьянки в Пьеве.



Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ...

Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о какой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно

с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где все или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегающий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть, с тем чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух.

Они вообще очень робки: звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате, или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвести. От этого он отвечает часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования; но на этом прекрасном лице и самый гнев был обволаживающ. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза; но как утратить это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли

в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но, чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальнейшее расстояние, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки; нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и все перед ним окунулось каким-то туманом. Тротуар неся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он неся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: точно ли выражение лица ее было так благосклонно, – и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремилась его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом, и перилы у подъезда противопоставили ему железный толчок свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собой. Колени его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце! Нет, это уже не мечта! Боже! столько счастья в один миг! такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это все? ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более осветило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложало на него обет строгости рыцарской, обет рабски исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления были как можно более трудны и неудобноисполняемы, чтобы с большим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку ему верить; что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все.

Лестница вилась, и вместе с нею вились его быстрые мечты. «Идите осторожнее!» – зазвучал, как арфа, голос и наполнил все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь, – она отворилась, и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепиано и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира: громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату; но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки; изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье, – все это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностью и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарев мерил ее с ног до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа; ей было только семнадцать лет; видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко оттенены тонким румянцем, – она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости; она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга поэту. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то, но все это было так глупо, так пошло... Как будто вместе с непорочностью оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост, как дитя. Вместо того чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. «Такая красавица, такие божественные черты – и где же? в каком месте!...» Вот все, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы, все выражение прекрасного лица ее было отмечено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников; но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед нагоревшею свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не загля-

дывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время... Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея.

– Та барыня, – произнес с учтивым поклоном лакей, – у которой вы изволили за несколько часов пред сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету.

Пискарев стоял в безмолвном удивлении: «Карету, лакей в ливрее!.. Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка...»

– Послушайте, любезный, – произнес он с робостью, – вы, верно, не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною.

– Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?

– Я.

– Ну, так пожалуйста поскорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом.

Пискарев сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами – и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее... – все это он никак не мог согласить с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом.

Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже вошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, – все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, к величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее бес-

престанно; при том толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. Творец небесный, что это! На нем был сюртук и весь запачканный красками: спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда: камер-юнкеры²⁴ в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как можно подальше от красавицы с прекрасным лбом и ресницами.

Со страхом поднял он глаза посмотреть, не глядит ли она на него: Боже! она стоит перед ним... Но что это? что это? «Это она!» – вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.

Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай, ай, ай, как хороша!...» – мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретила с глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, Создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклоном головы, нет, в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец – конец! Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (Создатель, какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее – и ничего больше! Никаких других желаний – они все дерзки... Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.

– Вам было скучно? – произнесла она. – Я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите... – прибавила она, потупив свои длинные ресницы.

– Вас ненавидеть! мне? я... – хотел было произнести совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер²⁵ с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждую остроту своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастью, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

– Как это несносно! – сказала она, подняв на него свои небесные глаза. – Я сяду на другом конце зала; будьте там!

Она проскользнула между толпою и исчезла. Он как помешанный растолкал толпу и был уже там.

Так, это она! она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами.

– Вы здесь, – произнесла она тихо. – Я буду откровенна перед вами: вам, верно, странным показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоянии, – произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, – никогда не изменить ей?

– О, буду! буду! буду!..

²⁴ *Камер-юнкер* – почетное придворное звание (степенью ниже камергера), которое получали молодые аристократы, состоявшие на гражданской службе.

²⁵ *Камергер* – высшее придворное звание (для лиц, имевших чин 3 и 4-го классов). Отличительный знак камергера – ключ на голубой ленте.

Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья! с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречающих, но во всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорили несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою; в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек с почтенною наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату – и там нет ее. В третью – тоже нет. «Где же она? дайте ее мне! о, я не могу жить, не взглянув на нее! мне хочется выслушать, что она хотела сказать», – но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глубине его; вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно, опять явилась! Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке... О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки²⁶, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постели, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним.

Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: «*Старого платья продать*». Вседневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. «Боже, умились: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник и фагот; о, это нестерпимо! Наконец она явилась! ее головка и локоны... она глядит... О, как ненадолго! опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец сновидения сделались его жизнью, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то, верно бы, принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что наконец сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство,

²⁶ Чухонка – финка. После немцев финны были самым большим по численности нерусским населением Петербурга.

он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить сон – для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги.

– На что тебе опиум? – спросил он его.

Пискарев рассказал ему про свою бессонницу.

– Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискарев обещал все. Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде. С жадностью схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за груды золота, и опрометью побежал домой.

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она! но уже совершенно в другом виде! О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее... Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ее шейке; все в ней скромно, все в ней – тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка! как музыкален шум ее шагов и простенького платья! как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом! Она говорит ему со слезою на глазах: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете?» – «О! нет, нет! пусть тот, кто осмелится подумать, пусть тот...» Но он проснулся, растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирали далее. Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, пред сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с сущестvenностью!» Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспреданное устремление мыслей к одному наконец взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый день, всегда в положении противоположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Чрез эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрою в руках! И она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства; все в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! она склонилась к нему на грудь прелестную свою головку... Лучшего сна он еще никогда не видывал.

Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли. «Может быть, – думал он, – она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель, и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?» Мысли его простирались еще далее. «Меня никто не знает, – говорил он сам себе, – да и кому какое до меня дело, да и мне тоже нет до них дела. Если она изъяснит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение».

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; приумылся, пригладил волосы, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Ондохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь: дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, так ужасно, так страдально, так сладко жил. Она сама стояла перед ним: он затрепетал; он едва мог удержаться на ногах от слабости, обхваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она все была прекрасна.

– А! – вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа). – Зачем вы убежали тогда от нас?

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.

– А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна, – прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъясляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника.

– Правда, я беден, – сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарев, – но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка.

– Как можно! – прервала она речь с выражением какого-то презрения. – Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, – жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

– Женитесь на мне! – подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. – Если я буду женою, я буду сидеть вот как!

При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О, это уже слишком: этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконец прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа; наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя²⁷ и равнодушной мины городского лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту²⁸; за ним идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему.

Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином²⁹, нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка³⁰ и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное создание. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окна кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка, моя!» – говорил с самоуверенностию Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей,

²⁷ *Квартальный надзиратель* – полицейский чиновник, в ведении которого находился определенный квартал города.

²⁸ *Охта* – предместье Петербурга, где находилось старое кладбище.

²⁹ *...одетый каким-то капуцином...* – Имеется в виду служитель похоронного бюро (как правило, это были отставные солдаты-инвалиды), одетый в длинные одежды, напоминающие монашеские; капучин (от *ит. cappuccino* – капюшон) – монах католического ордена, носящий плащ с капюшоном.

³⁰ *...красный... гроб бедняка...* – сосновый гроб.

из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы – все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе, между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: «Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!» – бывают им часто лучшею наградою. В высшем классе они попадают очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина³¹, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове³². Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играют какие-нибудь «Филатки»³³, которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменно. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров; многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом³⁴ и парой лошадей. Тогда круг их становится обширнее: они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или около того наличных и кучею брадатой родни. Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки, несмотря на то что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из «Димитрия Донского»³⁵ и «Горе от ума», имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе³⁶. Впрочем, оно несколько трудно перечислить все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапор-

³¹ *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789–1859), *Греч* Николай Иванович (1787–1867) – литераторы и журналисты, издавали газеты «Северная пчела» (см. коммент. – «Северная пчела»). Нравоописательные романы Булгарина и Греча пользовались успехом у широкого читателя.

³² *Орлов* Александр Анфимович (1791–1840) – автор многочисленных повестей и романов, часть из которых была написана как продолжение булгаринских романов о Выжигине. Произведения Орлова в 1830-х гг. служили мишенью для насмешек литературных критиков, особенно Булгарина. А. С. Пушкин иронически сравнивал двух «гениев» – Булгарина и Орлова в памфлетах «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», напечатанных в 1831 г.

³³ *Филатки* – популярные водевили из простонародной жизни «Филатка с детьми» П. И. Григорьева-1 (поставлен на сцене Александринского театра 23 ноября 1831 г.) и «Филатка и Мирошка – соперники, или Четыре жениха и одна невеста» П. Г. Григорьева-2 (поставлен 30 ноября того же года). Особенно большим успехом у демократического зрителя пользовался второй из названных водевилей, продержавшийся в репертуаре до 1850-х гг.

³⁴ *Кабриолет* – одноконный экипаж, управляемый самим седоком (*фр.*).

³⁵ «*Димитрий Донской*» – трагедия в стихах В. А. Озерова (1769–1816); поставлена в 1807 г.

³⁶ ...анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. – В записной книжке князя П. А. Вяземского этот анекдот звучит следующим образом: «Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкою и единорогом», – говорила Екатерина II какому-то генералу. «Разница большая, – отвечал он, – сейчас доложу Вашему Величеству. Вот извольте видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе». – «А, теперь понимаю», – сказала императрица» (Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 93). *Единорог* – старинное русское артиллерийское орудие, получившее свое название от изображенного на нем мифического зверя с одним рогом на лбу.

щик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» – но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обвиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художника Пискарева; впрочем, это происходило, может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно.

Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов – за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Перед ним сидел Шиллер, – не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, – не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «гут морген»³⁷, ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем.

«Я не хочу, мне не нужен нос! – говорил он, размахивая руками. – У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по сорок копеек; это будет рубль двадцать копеек; двенадцать раз рубль двадцать копеек – это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек! Да по праздникам я нюхаю рапе³⁸, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать – двадцать рублей сорок копеек на один табак. Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли? – Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно. – Двадцать рублей сорок копеек! Я швабский немец; у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! режь мне нос! вот мой нос!»

³⁷ ...«Гут морген!»... – доброе утро (нем.).

³⁸ *Rape* – высший сорт французского нюхательного табака.

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошеное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственной ему приятностью сказал:

– Вы извините меня...

– Пошел вон! – отвечал протяжно Шиллер.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:

– Мне странно, милостивый государь... вы, верно, не заметили... я офицер...

– Что такое офицер! Я – швабский немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) будет офицер: полтора года юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак: фу! – при этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться; однако ж такое обхождение, вовсе не приличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила:

– Что вам угодно?

– А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки! – при этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок.

Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с тою же суровостью спросила:

– Что вам угодно?

– Вас видеть, больше ничего мне не угодно, – произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе; но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: – Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!

Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.

– Я сейчас позову моего мужа, – вскрикнула немка и ушла, и чрез несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходявшего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом.

– Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей, – произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и запирался на это время даже от своих работников.

– Зачем же так дорого? – ласково сказал Пирогов.

– Немецкая работа, – хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. – Русский возьмется сделать за два рубля.

– Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей.

Шиллер минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила пятнадцать рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

– Мейн фрау! – закричал он.

– Вас волен зидох? – отвечала блондинка.

– Гензи на кухня!³⁹

Блондинка удалилась.

– Так через две недели? – сказал Пирогов.

– Да, через две недели, – отвечал в размышлении Шиллер, – у меня теперь очень много работы.

– До свидания! я к вам зайду.

– До свидания, – отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.

Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью; но исчезни она – и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то, по крайней мере, уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии; но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это наконец наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры; наконец шпоры были готовы.

– Ах, какая отличная работа! – закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры. – Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет таких шпор.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер – умный человек», – думал он сам про себя.

– Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу или другим вещам?

– О, очень могу, – сказал Шиллер с улыбкою.

– Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую.

³⁹ – Моя жена! – Что вам угодно? – Ступайте на кухню! (искаж. нем. – Meine Frau! – Was wollen sie doch? – Gehen sie in die Küche!)

Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на!» – подумал он про себя, внутренне ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головою, изъявил свое согласие; но поцелуй, который, уходя, Пирогов вlepил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец, в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фу-фу, уже Шиллер измерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но, однако же, привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда брал. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был характер благородного Шиллера, который наконец был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, – потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, – куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был на коротке и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды склонить на свою сторону.

В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами; к величайшей радости своей, увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал: «Гут морген!» Блондинка поклонилась ему как знакомому.

– Что, ваш муж дома?

– Дома, – отвечала блондинка.

– А когда он не бывает дома?

– Он по воскресеньям не бывает дома, – сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно, – подумал про себя Пирогов, – этим нужно воспользоваться».

И в следующее воскресенье как снег на голову явился пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходявши со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-

первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торньюру⁴⁰ и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проложит начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот⁴¹, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова; он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась, и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны как сапожники.

Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера.

– Грубиян! – закричал он в величайшем негодовании, – как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!

Гофман отвечал утвердительно.

– О, я не хочу иметь роги! бери его, мой друг Гофман, за воротник, я не хочу, – продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. – Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюрнберге; я немец, а не рогатая говядина! прочь с него всё, мой друг Гофман! держи его за рука и нога, камрад мой Кунц!

И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события.

Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он Бог знает чего бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в Главный штаб⁴². Если же Главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в Государственный совет⁴³, а не то самому государю.

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоевых пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы»⁴⁴ и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту; к девяти часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии⁴⁵, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров.

⁴⁰ Торнюра – сложение, фигура (от *фр.* *tourner*).

⁴¹ Гавот – старинный французский танец в умеренном темпе.

⁴² Главный штаб – один из высших органов военного управления в России.

⁴³ Государственный совет – высший законодательный орган Российской империи, члены которого назначались императором; собирался в Зимнем дворце.

⁴⁴ «Северная пчела» – первая крупная частная газета в России, политическая и литературная, издававшаяся в Петербурге Ф. В. Булгариным (с 1825 по 1830 г. единолично, с 1831 по 1859 г. совместно с Н. И. Гречем). В 1825–1830 гг. газета выходила три раза в неделю, с 1831 г. – ежедневно. Была очень популярна. Тираж ее доходил до 10 тыс. экземпляров. Деятельность газеты контролировалась правительством.

⁴⁵ Контрольная коллегия – Министерство статистики и отчетности.

«Дивно устроен свет наш! – думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. – Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, – тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку Главного штаба⁴⁶, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»

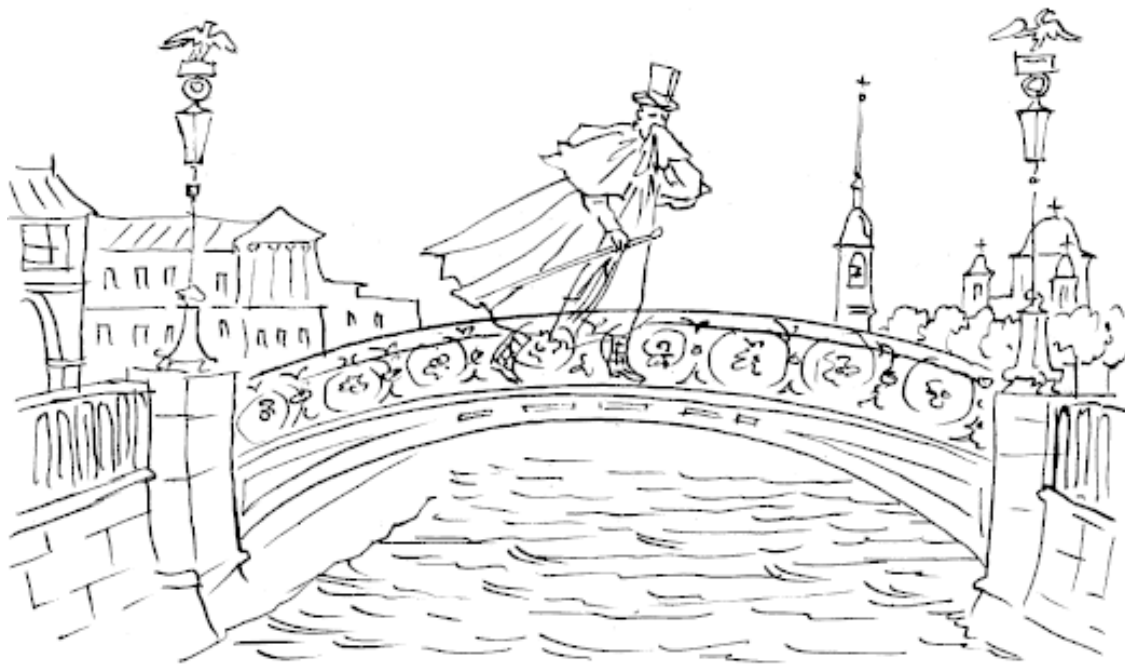
Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью⁴⁷, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете⁴⁸. Вы думаете, что эти дамы... но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь стуженною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, фореиторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.

⁴⁶ Арка Главного штаба... – имеется в виду арка здания Главного штаба на Дворцовой площади, построенного в 1823 г. по проекту архитектора К. И. Росси (1775–1849).

⁴⁷ ...*строящеюся церковью*. – Речь идет о лютеранской церкви Св. Петра и Павла, заложенной в августе 1833 г. по проекту архитектора А. П. Брюллова (1798–1877), брата «великого Карла» (Брюлловы были протестантами), и отличавшейся необычной по тем временам архитектурой. В черновой редакции статьи Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени» (1834) говорится: «Но и в гладкой, простой архитектуре сколько можно найти нового. Этому доказательством может служить прекрасная лютеранская кирка, строящаяся Брюлловым, архитектором, который доселе у нас один только показал решительный истинный талант. Жаль, что ему до сих пор не поручено еще ни одно колоссальное дело».

⁴⁸ *Лафайет* Мари Жозеф (1757–1834) – маркиз, французский генерал и политический деятель, участник Войны за независимость в Северной Америке; в период Июльской революции 1830 г. командовал национальной гвардией, содействовал вступлению на престол Луи Филиппа.

Нос⁴⁹



I

Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его – где изображен господин с намыленною щекою и надпись: «И кровь

⁴⁹ Впервые напечатано в журнале «Современник» (1836. Т. 3), с редакционным примечанием А. С. Пушкина: «Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись». Первоначально повесть предназначалась Гоголем для «Московского наблюдателя», но была отвергнута журналом как произведение «пошлое». В этой редакции фантастический характер сюжета (исчезновение носа) объяснялся в финале сном майора Ковалева. Готовя повесть для пушкинского «Современника», Гоголь отказался от этой традиционной мотивировки, заменив ее авторским ироническим послесловием. Редактируя «Нос» для третьего тома своих «Сочинений» (1842), Гоголь вновь переделал конец повести: сократил послесловие, внес в последнюю главу ряд новых эпизодов (разговор Ковалева со слугой Иваном, поездка в кондитерскую, встреча со штаб-офицершей Подточиной и ее дочерью). Еще в 1835 г., отправляя повесть в «Московский наблюдатель», Гоголь опасался цензурного вмешательства. «Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкви, – писал он 18 марта М. П. Погодину, – то, пожалуй, можно его перевести в католическую. Впрочем, я не думаю, чтобы она до такой степени уж выжила из ума». По требованию цензуры Гоголю все-таки пришлось перенести встречу майора Ковалева с носом из Казанского собора в Гостиный двор. В первоначальном наброске действие повести отнесено к 1832 г. В окончательной редакции Гоголь отбросил указание на год, точно обозначив лишь дату пропажи носа – 25 марта (Благовещение – один из важнейших православных праздников). В то же время в повести упомянуты события, волновавшие петербургское общество в начале 1830-х гг., придававшие ее сюжету правдоподобный характер: «опыты действия магнетизма», которыми занималась в 1832 г. некая г-жа Турчанинова, высланная полицией из Петербурга за шарлатанство (отчет о расследовании ее опытов был помещен в «Журнале Министерства внутренних дел» за 1832 г.); история о «танцующих стульях» в Конюшенной улице, будоражившая Москву и Петербург в конце 1833 – начале 1834 г. О последней сохранилось немало свидетельств современников. В дневнике А. С. Пушкина имеется следующая запись от 17 декабря 1833 г.: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих к ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать, дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки» (Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 7. С. 273). М. Н. Лонгинов, у которого Гоголь был в то время домашним учителем, рассказывает в своих воспоминаниях: «...как теперь, помню комизм, с которым он передавал, например, городские слухи о танцующих стульях в каком-то доме Конюшенной улицы, бывшие тогда во всем разгаре» (Гоголь в воспоминаниях современников, 1952. С. 72).

отворяют»⁵⁰ – не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

– Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию, – сказал Иван Яковлевич, – а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком.

(То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше, – подумала про себя супруга, – останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное! – сказал он сам про себя, – что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил – нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

– Где это ты, зверь, отрезал нос? – закричала она с гневом. – Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так беребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот нос был не чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье.

– Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок; пусть там маленько полежит, а после его вынесу.

– И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты, пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал – и не знал, что подумать.

– Черт его знает, как это сделалось, – сказал он наконец, почесав рукою за ухом. – Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб – дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..

Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага... и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но, на беду, ему попался какой-нибудь знако-

⁵⁰ ...надпись: «И кровь отворяют»... – Ср. рассказ известного бытописателя Петербурга М. И. Пыляева: «Если кто потрудился бы пройти лет пятьдесят назад с карандашом в руке по главным улицам Петербурга, тот собрал бы богатый запас диковинок из литературы вывесок. <...> На углу Владимирской и Невского проспекта над цирюльнею красовалась: «Здесь бреют і крофь а творяют» (Пыляев М.И. Замечательные чудачки и оригиналы. (Репринтное воспроизведение издания 1898 г.) М., 1990. С. 333–335). В старину цирюльники помимо стрижки, бритья и проч. занимались еще и лечением – рвали зубы, ставили банки, пиявки, отворяли, то есть пускали, кровь.

мый человек, который начинал тотчас запросом: «Куда идешь?», или «Кого так рано собрался брить?» – так что Иван Яковлевич никак не мог улучшить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, промолвив: «Подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий; то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» – то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» – «Не знаю, братец, только воняют», – говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бороною – одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бежит, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд; Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил:

– А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

– Желаю здравия вашему благородию!

– Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

– Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

– Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!

– Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия, – отвечал Иван Яковлевич.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.